

Я возвращался из больницы, где лежала моя жена.

Главный вход уже закрыли — никого из врачей или запоздальных посетителей не было видно ни в коридоре, ни на чёрной лестнице, и только на улице у больничных ворот умиротворённо дремали две крупные собаки. Я вышел за ворота и остановился. В тёплом воздухе пахло еловой смолой, и оттого тревога моя как будто ушла вглубь, постепенно поддаваясь ласковому спокойствию летнего вечера. На пятаке у остановки стояли люди, ожидая последнего автобуса в город.

Первый раз мы приехали сюда вчера утром, и вокруг всё было совсем не таким, как сейчас. Повсюду сновали люди, подъезжали машины, лихо шурша колёсами по гравию. К главному входу тянулась длинная очередь, и мы встали в конец, нетерпеливо оглядываясь, будто надеяясь, что нам можно пройти просто так. Жена молчала, машинально разглядывая свою фотографию в паспорте, который ей нужно было сейчас предъявить охраннику.

Подошли к проходной. Охранник медленно записал наши данные в толстую тетрадь и коротко объяснил, как пройти, но мы слушали рассеянно и долго ещё потом плутали в поисках входа в нужное отделение. Жена не мешала мне разбираться в больничных закоулках, но и не пыталась помочь, а просто ходила следом — я заметил, что ей неуютно было в этих длинных

мраморных коридорах. Я же, напротив, радовался, что смог уговорить её оперироваться в дорогой больнице, и обращал внимание на каждую мелочь — на огромный мягкий диван у входа в отделение, на просторный холл с телевизором, на чистоту стен и полов.

Когда мы вошли в палату, там никого не было. Воздух, спёртый от жары, казался тяжёлым и неподвижным. Я распахнул окно и удивился, какой плотной зелёной стеной окружал больницу лес.

— Смотри, как здесь красиво... Можно представить, что тебя украли и насильно хотят выдать замуж, — неловко пошутил я. А она взглянула на меня внимательно и хмуро, так что мы оба почувствовали, что вчерашняя ссора не закончилась и не забылась.

Я тяжело вздохнул и остался у окна, рассматривая уходившую вдаль полосу леса, пересекаемую высотными зданиями начинавшегося на горизонте города. Я злился на то, что она ещё обижается, хотя прошла уже ночь, и можно было бы успокоиться за это время, а она злилась оттого, что я мог подумать, что у неё всё могло пройти, будто её обида была чем-то неважным...

Въехал на пятак автобус, принялся неловко разворачиваться, не умевший своим неуклюжим железным телом на маленьком пространстве, и потому то отъезжая назад, то подаваясь вперёд. Люди обступили его, а потом поспешили войти внутрь, чтобы занять места. Я машинально подчинялся их напору. В голове носились обрывки случайных фраз, её слов, обращённых ко мне, но голос отчего-то был неласковым и даже раздражённым.

Я вспомнил, как вечером перед тем, как лечь в больницу, мы вернулись домой. Жена молча снимала туфли с усталых ног, стараясь не встречаться со мной взглядами. За несколько месяцев нашей семейной жизни я, кажется, научился чувствовать её состояние. Я знал: что-то гложет её сейчас, какое-то эмоциональное движение нарастает внутри, готовясь вылиться наружи, но не мог ничего изменить.

В такие часы мы делали по дому больше, чем иной раз за неделю. Жена начинала размеренно протирать туфли влажной тряпкой, а потом намазывала их чёрным смолистым кремом, я же шёл на кухню и убирал оставшуюся после завтрака посуду со стола. Я не знал, нужно ли греть ужин, и боялся спросить её об этом, и потому, помыв посуду, просто стоял посреди кухни, опершись на раковину и чего-то ожидая.

Когда я вернулся в комнату, жена уже легла. Я облегчённо вздохнул и сел за письменный стол, пытаясь хоть немного поработать, но всё-таки чувствовал, что она не спит, хотя и не подходил к кровати, убеждая себя, что ей нужно выпасть перед завтрашней поездкой в больницу. Вдруг я услышал, что она плачет. Торопливо поднялся и присел рядом, пытаясь обнять, но жена отстранилась, будто мои прикосновения обжигали её.

— Ну почему? Что происходит? — спрашивал я. — Скажи мне, ведь я всегда готов помочь, — но она не отвечала и только вздрагивала своим хрупким телом при каждом всхлипе.

Наконец, будто собравшись с силами, повернула ко мне заплаканное лицо и выговорила с ожесточением:

— Я всегда буду у тебя на втором месте... Я уже ненавижу твою литературу, — и отвернулась опять.

Это было несправедливо, я хотел возразить ей, переубедить, но едва я начинал что-то говорить, голос мой становился слабым, а фразы казались ненастоящими.

— Всё будет хорошо, — только и мог сказать я. — Это такой период, его нужно пережить...

— Не будет хорошо, — возразила она резко, лишь немногого отнимая лицо от подушки. — Зачем ты врёшь?! Разве ты не видишь, что с каждым днём становится только хуже?

До того, как мы начали встречаться, она полгода была влюблена в меня. Я же мечтал о сосредоточенной писательской жизни, которая ждала меня впереди, и совсем не замечал её. И теперь я понимал, что эти обидчивость

и минительность связаны именно с тем периодом безответной любви, но не знал, что же мне делать. Мне казалось, сейчас-то я рядом, что же ещё нужно, и разве не видно, как сильна моя любовь... Меня раздражали её легко-мысленные слова о том, что у нас всё плохо, как будто она радовалась, что это так, или просто искала повод расстаться. Ещё я злился на то, что она совсем не думает о том, что завтра нам рано вставать, ехать в больницу, а мне потом ещё и на работу на другой конец города — но нет, ей важны были только её переживания! Так мы и лежали, она — отвернувшись, я — борясь с собственным раздражением.

Автобус повернулся, размашисто вильнув тяжёлым телом, так что я мгновенно оказался на солнечной стороне. И от ярких красных лучей, хлынувших в меня, вдруг так горько стало, что мы, как два расстроенных инструмента, никак не можем найти ту ноту, на которой сошлись бы наши голоса...

Следующий день прошёл бесполезно, в заботах и суете, я позвонил ей только после работы. Прижимая телефон к уху, стоял перед огромным раскалённым шоссе, по которому то и дело проносились пылающие жаром машины. Было плохо слышно, и оттого её голос казался особенно слабым. Вроде бы она просила меня не ездить к ней, не мотаться. А я только вздыхал в ответ на её беззащитную гордость, на желание показаться сильнее, как будто она могла вот так вот легко обойтись без моего присутствия в этот важный вечер перед операцией.

Когда я приехал в больницу, жена находилась в палате. Она только что перетерпела долгую и неприятную процедуру и теперь была в приподнятом настроении, оттого что на сегодня уже всё закончилось. Мы сели рядом и стали рассматривать причудливые следы от зелёнки на полу.

На другой стороне просторной палаты лежала большая кряжистая бабушка с громким грудным голосом. Она сразу же заговорила со мной, будто бы продолжая давно начатую беседу, а потом принялась предлагать яблоки из своего сада. Кажется, нам с женой приятна была её суетливая разговорчивость — легко было кивать или отвечать что-то простое, для чего не нужно было старательно подбирать слова. Бабушка оказалась очень набожной: вокруг её кровати стояло множество икон, которые она привезла с собой из дома. Иконы громоздились на тумбе, закрывая баночки с лекарствами и мешочки с яблоками, но не умещались там и потому расходились по спинке кровати в одну сторону и по подоконнику в другую. Потом жена рассказала мне, что у бабушки недавно умер сын, и теперь она часто упоминала о нём без причины.

И всё-таки нам хотелось побывать вдвоём, и потому через некоторое время мы вышли в коридор. Там от окна до окна ходил мягкий прохладный ветер, приятно щекотавший лицо и руки. Но, даже оставшись одни, мы не стали разговаривать, а молча сели на огромный мягкий диван на входе в отделение и замерли, ощущая теплоту друг друга. Скора ещё чувствовалась между нами, но уже не обидой или раздражением, а едва заметным отдалением, будто что-то внутри не давало нам быть полностью открытыми друг другу.

Потом осторожно мы стали заговаривать о чём-то незначительном — то о прошедшей мимо нас пожилой медсестре, которая приветливым обхождением помогала многим больным легче переносить процедуры, то о забавном случае на моей работе — как бы пробуя на вкус ту или иную тему. А на прощание жена сказала, что скучает и хочет домой, и я обрадовался, что наша старенькая съёмная квартира, которую она всегда называла чужой, теперь уже как будто стала для неё родным местом.

Её слова грели меня весь вечер, неожиданно вспоминаясь и волнуя сердце. А когда я вернулся домой, в ту самую нашу квартиру, мне почему-то показалось, что жена здесь, спит на кровати, а может, даже плачет, как прошлой ночью. Но в квартире было пусто и одиноко. Я слонялся из комнаты на кухню и обратно, потом сел за стол и вдруг почувствовал, как сильно виноват перед ней.

Она выносила нашу любовь, как ребёнка, мучаясь, растя в себе маленький огонёк — самое важное, что у неё было тогда в жизни. Когда мы уже

стали встречаться, она иногда рассказывала мне, как тяжело ей было хранить его в себе, уже не надеясь на взаимность, — я кивал в ответ, жалея её, но не ощущал эти слова кожей: они проходили сквозь меня, не задевая. Ко мне ведь чувство пришло неожиданной вспышкой, пронзительной радостью ощутить любящего человека рядом, и я беспечно отдавался этой радости, эгоистически наслаждаясь ею. И даже после свадьбы я почти не думал о нас, а больше о литературе — мне жадно хотелось писать, а жена все эти месяцы жила со мной, не чувствуя меня рядом; ждала отклика, но не могла получить его.

Я поднялся и медленно лёг на кровать, но не мог справиться с нахлынувшим чувством вины. Я представлял, как она плачет здесь одна, отчаянно надеясь, что я подойду и скажу что-то такое, отчего она мгновенно поверит в искренность моей любви, но я только раздражалась от этих слёз и принимаюсь бессильно успокаивать её дежурными фразами, от которых становится ещё тяжелее...

Следующим утром я проснулся от сильной тревоги. Я лежал, пытаясь успокоиться, собрать растрёпанные мысли, но с каждой минутой всё яснее ощущал, что жена предстоит сегодня настоящая операция, что это будет общий наркоз — и почему же я не боялся этого раньше? Я столько переживал о наших отношениях, о ссоре и даже не подумал о возможной опасности. А жена волновалась, я только теперь понимал, как сильно она волновалась, но не хотела показать мне этого.

Она обещала позвонить перед тем, как её повезут в операционную, но мой телефон молчал, и после обеда я сам набрал её номер. Абонент был недоступен. Я понял, что операция уже идёт, а она просто забыла или не успела позвонить, но равнодушные механические слова в трубке всё равно отзывались во мне мучительным холодом. И страшно было, что я сегодня не услышал её голос, не сказал что-то важное, что могло бы успокоить её, дать сил.

И весь сегодняшний день мне казалось, что воздух вокруг натянут и может порваться в любой момент, а исход операции зависит от одного моего слова, неосторожного движения. Я сидел на работе, а из другой комнаты вдруг вышла незнакомая женщина и, громко хлопнув дверью, выговорила со злостью: «Какие же здесь все идиоты...» Всё содрогнулось во мне от этих грубых слов, будто плёнка задрожала, готовясь порваться, — а ведь именно в этот день она была особенно тонка, и потому в мире должно было быть как можно меньше злости.

А потом я сидел неподвижно, закрыв глаза, чтобы успокоиться, и слушал, как в соседней комнате работает радио. Диктор громко и проникновенно говорил об известных актёрах и актрисах, которые жили театром, и творчество было так важно для них, так постыдно-возвыщено и оторвано от жизни. Но как же чуждо и нелепо это звучало в тревожном ожидании этого дня.

Телефон по-прежнему молчал, и я ничего не знал о ней до тех пор, пока вечером не приехал в больницу. Я торопливо двигался по запутанным коридорам, а сердце сжалось от страха. Наконец, я побежал, втиснулся в грузный лифт, ощущая его мучительную медлительность. И вот мелькнули передо мной тот диван, где мы сидели вчера, холл с телевизором, пост дежурной медсестры и сама медсестра где-то в глубине ординаторской. Я хотел окликнуть её, спросить о главном, но не знал, как именно выразить свой вопрос. Голос не слушался, и я только бессильно стоял, опершись на стол, глотая ртом воздух, а потом рванул в палату.

На кровати, укрытая простынёй до подбородка, лежала моя жена. Я подскочил к ней и вдруг увидел, как простыня на груди вздрогнула от вздоха. А потом, видимо, услышав мои громкие шаги, жена открыла глаза и медленно, едва заметно улыбнулась.

— Прости, я не позвонила тебе, — сказала она тихим виноватым голосом.

Я замер от внезапной нежности и только дотронулся до маленького кро-вавого пятнышка на её простыне.

— Всё хорошо? — спросил ласково.

— Хорошо, хорошо, — услышал грудной голос сзади и, обернувшись, увидел её соседку — набожную бабушку. — Врач сказал, удачно прошла операция. Она молодец.

— Знаю, — зачем-то сказал я, опять глядя на жену.

Она ещё не до конца отошла от наркоза, ей тяжело было говорить, и потому я старался не давать ей сказать ни слова, но и сам не мог произнести ничего особенного. Осторожно осмотрел её рану, пропитанные пахучей мазью бинты, укрыл тёплым одеялом, старательно загибая края, чтобы внутрь не проник случайный ветерок. Сел на краешек кровати.

Она кивала — иди, опоздаешь, поздно приедешь домой, а я только грустно улыбался. На тумбочке случайно заметил маленькую малиновую заколку, и так приятно стало, что в этой чужой обстановке рядом с ней лежит знакомая вещь.

Близилось время последнего автобуса, а я всё ещё сидел рядом, наклоняясь к подушке, касаясь её волосами, слыша близкое дыхание. Бабушка на соседней кровати как-то особенно громко завозилась, а потом вдруг отчёлтико и монотонно стала читать молитву о своём умершем сыне. Мы замерли, боясь помешать ей. Стало так спокойно и торжественно — и мы, и наша любовь, и эти тяжёлые слова, будто дыхание Бога рядом. И кажется, мы оба почувствовали вдруг, как много значит этот долгий момент в нашей короткой, как одно грудное слово молитвы, жизни.

А когда бабушка закончила, я всё-таки собрался уходить.

— Спасибо, что пришёл, — сказала жена на прощанье, и у меня сердце сжалось от её беззащитности — разве я мог не прийти?.. Но я только улыбнулся, спокойно и нежно:

— Спасибо, что разрешила прийти, — и увидел, как постепенно теплеют её глаза.

А потом в автобусе, прислоняясь к мелко дрожавшему стеклу, я смотрел вокруг, и на душе было светлее оттого, что на всём этом грубом и грустном мире будто бы запечатлелась её улыбка. За окном, по кромке леса на горизонте, по верхним окнам домов разливался горячий закат. Постепенно он спускался всё ниже, пока, наконец, не заполнил даже асфальт под колёсами автобуса. Я чувствовал, как он наполняет и меня, и все ссоры, тонкости отношений, непонимание — всё тонуло в нём, но в тоже время что-то важное, чего я сам ещё не понимал, как бы скрепляло нас друг с другом...

Раньше я думал, что в любви всё должно быть идеально, что нужно искать человека, который полностью подходил бы тебе, ведь любовь должна быть один раз на долгую жизнь. Я знал, как важно, чтобы у людей совпадали мнения по многим вопросам, чтобы правильно могли соединиться все человеческие качества. Но разве так мы выбирали друг друга? Нет, и у неё, и у меня это было по большому счёту внезапное влечение, совершенно не укоренённое в душе. И теперь я уже понимал, как случайно было наше единение, как много есть в нас таких шероховатостей, которые никогда не лягут гладко, не притрутся — того, что ни один из нас не сможет полюбить в другом, самое большое — мы сможем привыкнуть. Но, даже зная об этом, чувствуя это так неотвратимо, разве можно было помыслить о ком-то другом рядом? В этом огромном всепоглощающем закате такой ничтожно короткой казалась собственная жизнь, что невозможно было ничего в ней менять и ничего другого выбрать.

Я думал, как же мне сделать её счастливой, как нам встать лицом к лицу, чтобы увидеть что-то самое важное друг в друге. Как преодолеть себя, стать чем-то большим, чем просто самолюбивым человеком со своими узкими убеждениями и предпочтениями. И так хотелось назад, ещё раз увидеть её, прижаться щекой к маленьким бледным рукам и говорить что-то очень важное, чего я, может, никогда ещё не говорил, но я только жмурился от неожиданного чувства и усталости.

Жена моя... Как странно происходит, когда вдруг шелуха жизни спадает и всё проясняется. И тогда остальное — и литература, и собственные желания, и мелкие обиды — всё становится неважным. И как будто море жизни открывается впереди, и остаётся только двигаться по нему куда-то за горизонт, где начинается что-то новое, радостное...